



Мария
Метлицкая

То, что сильнее



Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Метлицкая, Мария.
М54 То, что сильнее : рассказы / Мария
Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2026. — 320 с.

ISBN 978-5-04-236131-9

В молодости кажется, что жизнь — простая и незамысловатая штука. С годами человек понимает, что между черным и белым существуют полутона, что не бывает хорошего без плохого и наоборот.

К героям Метлицкой с возрастом приходит и другое открытие — жизнь сильнее и мудрее человека. Все попытки искусственно изменить ее — бессмысленны. Надо просто довериться ей — и она не подведет.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2026
© Оформление. ООО «Издательство
ISBN 978-5-04-236131-9 «Эксмо», 2026

То, что сильнее

Ночью она, конечно же, не спала. Впрочем, что за новость! В обычные-то дни порой с фенозепамом, а тут такие события! Просто мирового значения! К семи утра она стала чуть подремывать, а в восемь уже зазвонил будильник. Милочка еще спала.

Встала она легко, без побрякивания и медленного шарканья по комнате и до туалета, как было всегда. Почти подскочила и бодро устремилась в ванную.

Она долго умывалась, критически разглядывая себя в зеркало и, как всегда, оставаясь недовольной этим, увы, не самым веселым зрелищем, потом что-то вспомнила, суетливо бросилась на кухню, открыла морозильник, вытряхнула из пластмассовой ячейки кубик льда и стала протирать им лицо. Лед быстро таял и капал на ночнушку. Потом она снова посмотрела на себя в зеркало, и ей показалось, что кожа порозовела и стала упругой.

«Умная Зинка! — мелькнуло у нее в голове. — Надо почаще ее слушать. Что там еще она го-

ворила? Лед, потом тертую картошку под глаза, а уж потом крем».

Тереть картошку было неохота, да и некогда. Она выдавила из тюбика крем «Женьшеневый» и осторожно стала наносить на лицо. Зинка учила: наши кремы — лучшие. Впрочем, французские она все равно не тянула. Привычным ловким движением закрутила узел на затылке и снова, как всегда, осталась недовольна своими волосами. Это с юности — да, густые, да, седина поздняя и редкая, а вот структура волоса (фу, никогда не нравилось) — мелким, непослушным «бесом». Зинка ворчала: к твоим годам у всех уже половина от волос остается, а у тебя — полно. Подумаешь, кудряшки ей не нравятся! Ну, что поделаешь, не нравятся — всю жизнь хотелось иметь гладкие и прямые. Как у Лары. А так — ни стрижку, ни челку. Всю жизнь — гладкий пучок на затылке. Сейчас уже, правда, по возрасту.

Потом она прошла на кухню, тихо прикрыла дверь — не дай бог, разбудить Милочку — и включила электрический чайник.

— Господи! Какое удобство, — в который раз удивилась она. — Три минуты всего!

Ее, человека гуманитарного, с трудом меняющего перегоревшую лампочку и с большим трудом освоившую стиральную машину-автомат, восхищали и потрясали все новости технического прогресса: телефон без шнура, который вечно

перетирался, печь СВЧ — и разморозить, и разогреть, тостер, электромясорубка — ни усилий, ни трудов. А уж мобильник она считала просто вершиной гениальности человеческой мысли. И даже при их весьма скромных доходах копилось и откладывалось на новые чудеса техники.

Сначала купили мобильник Милочке — самый дешевый, естественно, корейский, а спустя месяц — и ей, Анне Брониславовне. Теперь, даже когда она выходила ненадолго, в сберкассу или в магазин, они с Милочкой обязательно созванивались, буквально два слова:

— Ты как? Все нормально?

И услышав в ответ дочкино «Все о'кей!», Анна Брониславовна улыбалась, вздыхала, отключала кнопку и убирала телефон в сумку.

Она выпила кофе с кусочком сыра — очень вкусно, несмотря на нервное состояние. Посмотрела на часы и пошла в комнату — одеваться.

Наряд свой, скромный, но из выходных, она приготовила еще с вечера: темно-синяя юбка-джерси и голубая из искусственного шелка турецкая блузка — нарядная с большим воротником, пробитым дырочками узором и украшенная крупными, под перламутр, пуговицами.

В уши вдела свои единственные сережки — маленькие в лапках брильянтовые «розочки», память о маме. Подушилась духами с нежным названием «Анаис-Анаис» — подарок Милочкин ко дню рождения. И нанесла последний штрих:

бледно-розовую перламутровую помаду — цвет, которому она не изменяла всю жизнь.

— Что ж, — оглядела она себя. — Вполне приличная дама глубоко за шестьдесят. Даже сохранилось подобие талии — блузку, по крайней мере, можно еще заправить в юбку.

Потом, что-то вспомнив, она всполошенно влетела на кухню. Проверила бульон на окне — все в порядке, яркий, янтарный, пена снята вовремя, много моркови — отсюда и цвет. Подняла полотенце — на доске лежала длинная, как полено, немного кособокая кулебяка с капустой, — приподняла крышку старой, чугунной, еще бабушкиной утятницы. Там, ожидая своего часа, лежала говядина с черносливом. Все нормально.

Она устало плюхнулась на табуретку.

— Господи, дура какая! А что могло с этим за ночь случиться? Мышей в доме, слава богу, нет. Все нервы, нервы.

На кухню, зевая, вышла Милочка.

— Ты уже, мамуль? — удивилась она. — Рано же еще!

— Нормально, в самый раз. Подожду во дворе. Там спокойнее.

Милочка опять широко зевнула и кивнула. Анна Брониславовна поднялась с табуретки и строго сказала дочери:

— Мила! За тобой — пылесос и пыль! Ты помнишь, надеюсь.

Милочка кивнула и махнула рукой.

— К двенадцати часам, Мила, к двенадцати должен быть полный, просто наиполнейший порядок!

Милой она называла дочь редко, подчеркивая тем самым торжественность и важность момента.

Милочка бросила свое вечное «ага» — и исчезла в ванной.

— И себя в порядок! Слышишь? — крикнула Анна Брониславовна дочери.

В прихожей она надела дутое корейское пальто — вполне приличное, хоть и с рынка. И снова порадовалась ранней весне. А если бы стояли морозы? Тогда бы пришлось пойти в выношенной донельзя, ненавистой и тяжелой старой мутоновой шубе. И в «гнезде» на голове — песцовой, пожелтевшей от времени шапке.

«Сапожки не надену, ну их, хотя есть вероятность, что промочу ноги. Но разве об этом сейчас речь?»

Она села на маленький пуфик в прихожей и, кряхтя, засунула ноги в туфли — еще вполне приличные, правда, не по погоде.

«Точно промокну!» — вздохнула она.

Шарф на голову тоже надевать не стала.

«Что я, старуха, в конце концов? — бодрилась Анна Брониславовна. — Дай бог, пронесет, а нет — так пошмыгаю носом пару дней».

— Я ушла! — крикнула она Милочке.

Дочь вышла в коридор.

— Ни пуха, ни пуха! И не волнуйся ты там! Все будет хорошо. В конце концов, он же прожил здесь основную часть своей жизни, — утешила она мать.

Анна Брониславовна кивнула и тяжело вздохнула.

В дверь раздался длинный звонок. На пороге стоял Генка, сын соседки Зины.

— Ну чё, тетя Ань? Помчались?

Анна Брониславовна кивнула.

— Аккуратнее там! — бросила вдогонку Милочка. — Телефон взяла?

— Да-да, — ответила мать.

Пока они ждали лифт, из соседней квартиры выглянула соседка Зина, Генина мать.

— Двинулись? — спросила она. — С богом!

Анна Брониславовна ей сухо кивнула. Вообще говоря, на Зину она была обижена. В первый раз обратилась с просьбой, да и просьба невелика — отвезти в Шереметьево, встретить дорогого гостя, а у Зинки аж лицо набок свернулось.

— Ой, Ань, такие пробки, ездить невозможно, да и потом, сама знаешь, как с этими уродами связываться? — Это она про своих сыновей.

Анна Брониславовна от негодования вспыхнула и пошла пятнами. Боже мой, Сколько она этой Зинке помогала! У той пять лет свекровь парализованная лежала. Зина работала сутками, а она, Анна Брониславовна, бабуку три раза в день кормила, судно выносила — у нее были

ключи от квартиры, забегала по пятнадцать раз в день. И поминки все сделала — и блины, и салаты. Зина ей тогда руки целовала: «Аня, да я без тебя бы!..» А тут раз в жизни обратилась — и козья морда. Вот она, простота. Та, что хуже воровства. Анна Брониславовна поджала губы, развернулась и ушла к себе.

Вечером Зинка, конечно же, прибежала. Принесла кусок яблочной шарлотки и банку протертой малины — в знак примирения. Чувствовала свою вину. Не извинилась, где ей, а все приговаривала:

— Ань, ну ты чего, ты меня не так поняла! Чего обижаться-то, потом мои балбесы не твоя Милочка, сама знаешь. Отвезет Генка, куда денется, отвезет, ясное дело.

Что дуться, когда и вправду деваться некуда? Такси в аэропорт стоит бешеных денег, а обратно и говорить нечего — видела по телевизору их, таксистскую мафию, там, на месте. Пенсии не хватит.

В машине Генка громко включил радио «Шансон». Анна Брониславовна покачала головой и скривила губы:

— Ну и пошлость!

А Генка радостно подпевал. Потом решил пообщаться:

— Ну, чего там, тетя Ань, любовника своего едете встречать? Друга, так сказать, детства? Анна Брониславовна покраснела.

— Балбес ты, Генка, это муж моей подружки покойной, соседки по старой квартире. Десять лет вместе прожили. А ты глупости свои несешь.

Генка не обиделся, а понятиливо покачал круглой стриженной башкой.

— А откуда он летит, из Америки, что ли? Еврейчик, стало быть?

Анна Брониславовна наморщилась от этого вроде бы безобидного, но почему-то неприятного и унижительного «еврейчик» и спокойно и строго сказала:

— Да, Гена, он еврей, как ты изволил выразиться. И уехал он в Америку от таких, как ты. Имеет право. От всего этого ужаса подальше. — Она кивнула головой на город, мелькавший в окне машины. — А жена у него была русская. Так что дети, считай, тоже получают русские. И осуждать никого мы не имеем права. Во-первых, прошли те времена, а во-вторых, если бы у всех была возможность уехать, то думаю, что осталось бы здесь народу процентов десять или от силы двадцать.

После такой пламенной речи Анна Брониславовна покраснела, замолчала и отвернулась к окну.

— Да ладно, тетя Ань, — миролюбиво сказал Генка. — Это вы верно сказали: я бы тоже свалил за бугор. Только кому я там нужен, простой водила, там таких, как я, тучи. А насчет еврейчика вы зря обиделись: говорят же «хохлушка»,

«армяшка»... Это я так, без злобы. Умный народ, между прочим. Этого не отнять. — И, помолчав, добавил жестко: — Все под себя подмяли, умники: и телевидение, и заводы, и недра наши.

Генка замолчал и прикурил сигарету.

— А пить надо меньше. И завидовать, — откликнулась Анна Брониславовна. И испуганно замолчала. «Господи, куда меня несет, с кем в дебаты вступила, дура старая! Выкинет меня сейчас в городе Химки, и буду стоять в туфлях по колено в луже тут до вечера».

Оставшуюся дорогу ехали молча. Анна Брониславовна пыталась завязать разговор про личную жизнь и про работу, но Генка был уже не в настроении и отвечал односложно. «Ну и черт с тобой!» — подумала она и переключилась на собственные мысли и воспоминания, а их было предостаточно — просто море разлитое.

Мимо проплывала заброшенная окраина Москвы — по-мартовски неопрятная, с мрачными серыми пятиэтажками и нелепыми вкраплениями огромных нарядных и ярких новостроек, оказавшихся здесь как бы случайно и не к месту. Зарядил косой и мелкий дождик, а Анна Брониславовна вспомнила свою жизнь. Жизнь, которую она никогда, ни разу не посчитала несложившейся или несчастливой. Потому что в ее жизни была любовь, та единственная, которую она, Анна Брониславовна, осторожно и трепетно пронесла через всю жизнь, не желая размениваться ни

на что другое — ни-ни. Даже на легкую интрижку или флирт. В общем, она была из тех, кто носит-ся с любовью глупо и нелепо, как с писаной торбой, и к тому же считают ее благом и подарком судьбы. Вдобавок ко всему у нее был ребенок от любимого. Не это ли счастье?

В конце пятидесятых мать ее, Елизавета Осиповна, получила большую и светлую комнату в центре, на Петровских линиях, взамен маленькой семиметровой в бараке без удобств на Преображенке. Комнату эту выделили ей как вдове, после ужасной и нелепой смерти мужа на производстве. В пятьдесят третьем ему, прошедшему всю войну до Праги с одним пустяковым ранением, в цехе затыкнуло руку в какой-то станок, намотало до локтя, и скончался он от потери крови.

Старшего сына Елизаветы Осиповны, Анютино-го брата Германа, направили в командировку в Иран врачом в военный госпиталь сразу же после института, так как на пятом курсе он успел жениться и даже родить дочку. Жену его, красавицу Алевтину, Анята побаивалась — та очень была холодна и сурова. Да что там Анята, перед Алевтиной сильно робела и тихая свекровь.

Из Тегерана (а жизнь там при Пехлеви была вполне неплохая) Герман с оказией передавал матери разноцветные нейлоновые кофточки и легкие отрезы — разбиралось это все мгновенно по знакомым. На это в основном и жили

и даже изредка шиковали, баловали себя и черной икрой, и балыком, и ананасами из «сорокового» гастронома. Елизавета Осиповна тогда еще работала в бухгалтерии при роно, но зарплата у нее была крошечная. Позже, правда, она выхлопотала пенсию за отца — называлось это «потеря кормильца», но платили ее только до совершеннолетия Анюты.

В пятьдесят девятом Герман с семьей вернулись из Тегерана. Полгода жили все вместе в комнате на Петровке, и это был, конечно, сумасшедший дом. Елизавета Осиповна сбивалась с ног, чтобы угодить капризной невестке, сын приходил с работы раздраженный, их дочка Светочка была ребенком капризным и не в меру плаксивым. А Алевтина вспоминала свою заграничную жизнь — и платья с декольте, и приемы в посольстве, и дворцы, и магазины. Анюта рассматривала фотографии, где Алевтина и вправду была сказочно хороша — тонкая талия, голые плечи, узкий лиф платья и широкая пышная юбка из переливчатой ткани.

В подарок Анюта получила розовую шерстяную «двойку» с золотыми пуговицами и тоненькое колечко с ярко-синей бирюзой. В комнате стояли до потолка плотно перевязанные коробки с привезенным добром. Алевтина их не открывала. На коммунальную кухню выходила в шелковом, до пят, халате, расшитом райскими птицами. Варила кофе и всех учила хорошим

манерам. Родом она была из Нижнего Тагила, из семьи уборщицы и экскаваторщика. Соседи ее не любили и называли «мадам».

Через полгода ад для Елизаветы Осиповны и Анюты закончился — Герман купил кооператив. Коробки с таинственным заморским добром были увезены на маленьком грузовичке с открытым верхом. Уезжая, Алевтина бросила свекрови фразу: «Перетерпели друг друга, слава богу, хоть не подрались». Видимо, этот несостоявшийся финал был для нее откровением. А Елизавета Осиповна и Аня вздохнули наконец свободно.

Герман заезжал раз в месяц, привозил матери какие-то деньги, которые она брать не хотела, плакала, и каждый раз все это заканчивалось скандалом.

— Жалко мне его очень, — говорила мать, вздыхая и вытирая слезы ладонью.

— Жалко? — не понимала Аня. — За что Геру жалеть? Молод, хорош собой, пишет кандидатскую, отдельная квартира.

Мать смотрела на нее укоризненно и качала головой.

— А Алевтина? — говорила она непонятливой дочке.

И дочка вслед ей тоже тяжело вздыхала.

Училась Аня в школе почти на «отлично» — только с трудом давалась ненавистная химия. Была девочкой тихой, спокойной, могла часа-

ми читать, забравшись с ногами на вытертый черный кожаный диван с высоким и неудобным изголовьем. Внешне была довольно хорошенькая — живые темные, почти черные, глаза, забавный вздернутый нос, бровки домиком, кудрявые волосы заплетены в толстую, весомую косу. Была полновата, в школе имела прозвище «калорийка» — по названию румяной булочки с изюмом. Из-за этого здорово переживала, но отказать себе в сладком не могла.

В их коммунальной квартире жило несколько семей. Люди были разные — и плохие, и хорошие, и жадные, и хлебосольные, и злые, и доброжелатели. Но грубых ссор и громких скандалов все же не было — так, по мелочи: кто-то на кого-то обидится, кто-то кому-то позавидует, кто-то кого-то осудит. Обычная человеческая жизнь. Но все равно, на дни рождения, Первомай и ноябрьские накрывались столы и ходили друг к другу в гости. На дни рождения пекли пироги и торты виновнику торжества, обносили ими соседей, а виновник выставлял бутылку и немудреную закуску на кухонном столе.

Подростков было трое. Прежде всего собственно Аннушка Ковальчук четырнадцати лет. Она и ее мать Елизавета Осиповна жили в квадратной восемнадцатиметровой комнате с большим окном-фонарем, гранитным метровым подоконником, служившим им обеденным столом, и тяжелой, бронзовой старинной люстрой, кото-

рая осталась от прежних хозяев и казалась в их царстве скромности и почти бедности слегка неуместной.

В соседней комнате жила семья Горловых — Галина Борисовна, женщина неприятная, сухая, вредная и склочная, ее муж, майор-отставник Георгий Романович, так и не дослужившийся до более высокого звания, что явно мешало его супруге жить на белом свете, и их сын Вадим шестнадцати лет — высокий, ладный и статный красавец, уже в те годы обещавший разбить не одно женское сердце.

И еще была Лара. Лара Прекрасная. Лара Великолепная. Лара дивная и чудесная. Лара бесподобная и восхитительная. В общем, божественная Лара. И в этом была абсолютно уверена ее соседка, Аннушка Ковальчук. Ларе Стрекалиной было шестнадцать лет, казалось бы, самое начало расцвета после унылого и тоскливого прозябания — словом, возраст, когда гадкий утенок в мгновение ока, в один день, превращается в прекрасного белого лебедя. Метаморфозы и игра природы — сколько серых и неприметных девиц переживали подобное! Но здесь был другой случай. Сказочные и внезапные превращения Лару не коснулись, так как прекрасной она была всегда. Ее богатая природа не испросила для себя передышки в три-четыре года, когда даже самый хорошенький ребенок непременно дурнеет.

Итак, Лара Стрекалина. Слишком высокая для девицы тех лет, но опять природа была щедрa и милостивa — никакой голенастости, угловатости, неловкости и сутулости. Сплошное изящество. Фигура не подростка, а зрелой женщины — бедра, грудь, талия. Стройные, плотные ноги. Дивные волосы — редкий натуральный цвет. То, что называется «пепельная блондинка». Самому злomu, самому коварному языку зацепиться не за что: прямой нос, чудесный, яркий рот, громадные серые глаза, широкие, длинные, к вискам, темные брови. И ко всему этому великолепию — легкий, безудержный и веселый нрав. Лара не шла — она летала. Лара не говорила — она пела. А как она смеялась! Хрустальный перезвон. Была мила со всеми без исключения, ни про кого и никогда не говорила плохо.

Жила она в комнате, выходявшей на черную лестницу. С одной стороны, бывшая комната прислуги, темная, сырая лестница, туалет в общей квартире, но с другой — сплошные преимущества: у Стрекалиных был свой, отдельный, пусть черный, но вход. И собственный крохотный, двухметровый коридорчик, из которого они соорудили малюсенькую проходную кухню-буфет с плиткой и раковиной, так что общей кухни, основного рассадника сплетен и дразг, они как бы и не касались.

Жила Лара с отцом, ведущим инженером крупного авиационного КБ, человеком суро-

вым и молчаливым, прощавшим любимице дочери и капризы, и баловство. На хозяйстве была старая няня Глафира, маленькая, горбатенькая, с мелко трясущимися руками и головой, всегда в застиранной темной косынке. Глафира и стирала, и готовила, и прибирала, и ходила в магазин — осторожно, мелкими шажками, постоянно озираясь, — очень боялась машин. А вот матери у красавицы Лары не было. Вернее, конечно, в природе она была — живая и невредимая. Только жила мать с молодым мужем, морским офицером, в городе Одессе. И к дочери, оставленной ею в двухлетнем возрасте, не желала иметь ни малейшего отношения. С двух лет Лару растила старая няня Глафира.

Отец, по природе немногословный и жесткий, после предательства любимой красавицы жены еще больше посуровел и замкнулся. Из дома навсегда исчезли веселые гости и даже ближайшие родственники. Дочь свою он, конечно же, обожал. Только иногда, когда смотрел на нее, уже подросткую, такую прелестную и так похожую на свою коварную красавицу мать, у него начинало ныть сердце, а из груди готов был вырваться тяжелый громкий стон, который он с трудом сдерживал. О дальнейшем устройстве своей судьбы он не подумал ни разу. Привезти в дом мачеху? Упаси бог! Даже родная мать оказалась кукушкой. Рисковать душевным спокойствием Лары? Подвергать ее новым, не-

известным испытаниям? Никогда! Дома, слава богу, благодаря верной Глаше все было в полном порядке, а женщин он будет бояться уже всегда — слишком сильным было едва пережитое им предательство.

Старые соседи, еще видевшие Ларину мать, говорили, что она, Лара, точная ее копия — та же красота, легкая походка, звонкий смех, легкий нрав. Та тоже была веселая и разлюбезная, а вон что змея, прости господи, выкинула — дите малолетнее бросила. Жалели, конечно, и отца, мгновенно постаревшего и потускневшего, и старую горбатую Глафиру, тянувшую на себе весь дом, и ребенка. Ну при чем тут дитя? Ведь ни разу за все годы не приехала, стерва этакая! Правда, терли все это в первые годы, а потом, как водится, забыли. И разговоры со временем поутихли, всплывали изредка, и то по случаю.

Лучезарную Лару-подростка, казалось бы, вся эта семейная трагедия и вовсе не коснулась, а так, прошла по касательной, мимоходом. Иногда, впрочем, накатывала на девочку мимолетная грусть от мысли, что у нее все не так, как у других. Но жизнь это явно не омрачало.

В школе Лара училась неровно — то пятерки сплошняком, по всем предметам без исключения, то вдруг двойки — и опять по всем предметам, даже самым любимым, например литературе и истории. Что говорит все же о том, что не все было гладко и слаженно в неустойчивой

детской душе. Отец за это не ругал — так, мягко журил: «Тебе жить. С чего начнешь свою жизнь, так она и потечет». А в душе, конечно, тревога, такая тревога — все совпало: и Ларины красота, и прелесть, и легковесность. А гены? Уж очень много общего у нее с матерью. Как бы чего не вышло!

С Аннушкой Лара не дружила, а так, общалась по-соседски, два года разницы в этом возрасте — пропасть. Да и Аннушка хоть и славная девчужка, но такой еще ребенок — бантики, гольфы, на уме одна учеба. А она, Лара, естественно, уже в полной мере осознала свою женскую привлекательность. Еще бы! Чего стоили взгляды мужчин-прохожих — самого разного возраста.

Лара уже красила густой, как вакса, тушью «Ленинградской» свои и без того длинные и тяжелые ресницы, предварительно изрядно поплевав в картонную узкую коробочку. Носила капроновые чулки-сетку производства ГДР. Эти чулки не «ехали», а останавливались крохотной дырочкой, которую можно было зашить такой же жесткой, блестящей капроновой ниткой. В десятом классе проколола уши — правда, перед школой серьги снимала.

Аннушка смотрела на нее глазами, полными любви и восхищения, и все норовила пойти мимо низкой обитой жестью двери, которая вела из квартиры на черную лестницу. Вдруг появит-